

ДЕСЯТЬ ЛЕТ Декабря



Декабря декабрю
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Гена Руднев
Десять лет декабря

«Автор»

2026

Руднев Г.

Десять лет декабря / Г. Руднев — «Автор», 2026

Михаил был отправлен на каторгу - на самый край империи. Спешно организованное восстание провалилось. За ним остались смерти, казни и пепелище несбывшихся надежд. Теперь он - безымянный каторжник, потерявший всё: семью, честь, прежнее имя и заслуги перед государством. Каждый день - изнуряющий адский труд, холод, голод и безжалостный надзор. Впереди только боль, отчаяние и неизбежная смерть. Как выжить в этом аду? Продолжать ли карать себя за провал? Стоит ли рискнуть и бежать, зная, что бежать почти невозможно? Или найти смысл в самом пепле своей жизни? Но история не только лишь о нем. В первую очередь о ней.

Гена Руднев

Десять лет декабря

Десять лет декабря
Часть первая

Столица, лето 1826 года

Глава I

Достаточно ждать...

Солнце поднималось над столицей, и первый его луч, пробившись сквозь легкую утреннюю дымку, скользнул по шпилью одной важной крепости. Заиграл он в окна здания площади и, наконец, золотым зайчиком упал на широкую гладь реки столицы. Река та, еще не потревоженная дневной суетой, лежала неподвижно, как зеркало, опрокинувшее в себя ясное, безоблачное небо. По набережной изредка проезжали экипажи, цокот копыт звонко отдавался в утренней тишине, но город просыпался медленно, нехотя, словно предчувствуя знойный день.

В одном из домов той набережной распахнутое окно бельэтажа явило взору случайного прохожего картину, достойную кисти художника. В комнате, залитой солнцем, у открытого фортепьяно сидит женщина. Свет падает на клавиши, и руки ее, еще не тронутые дневными заботами, легко касались их, извлекая мелодию, которая, казалось, рождалась из самого этого утра. Если бы прислушаться, то можно услышать мелодии Моцарта.

Взгляду, остановившемуся на ней, открылась бы женщина, в которой не было ни той кукольной красоты, что так ценилась в светских гостиных, ни той строгой величественности, что внушала трепет. Красота ее была иного рода - живая, дышащая, вся сотканная из света и тени, из покоя и скрытого внутреннего огня.

Она кажется небольшого роста, но в том, как сидит, прямая, чуть склонив голову к плечу, чувствовалась стать, не приобретенная, а врожденная - та, что не требует корсета и не зависит от моды. Одея она просто, по-домашнему: легкое утреннее платье из светлого батиста, не стянутое в талии, свободно облегалo фигуру. Кажется, она только что поднялась с постели и, не позвав горничную, не одевшись к завтраку, села за инструмент.

Волосы ее, длинные, густые, пепельно-русого оттенка с золотистыми прядями, были распущены и тяжелой волной спадали на плечи и спину. Они вились от природы - не мелкими аристократическими локонами, а крупными, упругими кольцами, в которых путался солнечный свет, зажигая в них теплые медовые искры. Иные пряди падали на лицо, и она, не прерывая игры, чуть заметным движением головы отбрасывала их назад.

Когда женщина поднимает глаза к окну, становится видна их глубина. Ресницы ее широкие, длинные, чуть загнутые кверху - они бросали легкую тень на верхнюю часть щек и делали взгляд особенно глубоким и значительным. Самые же глаза... глаза ее того редкого, ярко-голубого цвета, какой бывает у незабудок в росе или у неба в первый час после грозы, когда оно еще не успело выцвести и хранит всю свою первоизданную синеву. Но в них не было той холодности, что часто сопутствует светлым глазам, - напротив, они светились теплом, вниманием к миру и какой-то особенной чуткостью.

Лицо ее, чуть бледное после бессонной ночи (или, напротив, оттого, что сон был слишком крепок и глубок), хранило выражение покоя. Губы, полные, чуть припухлые со сна, тронуты едва заметной улыбочкой - не обращенной ни к кому, а рожденной самой музыкой. Нижняя губа была чуть полнее верхней, и это придавало рту выражение детской беззащитности, странным образом сочетавшейся со строгостью всего облика. Когда она на мгновение сжимала губы,

в линии рта проступало что-то решительное, почти упрямое - то, что пряталось за внешней мягкостью.

Челюсть ее очерчена ярко, определенно - не той тяжелой, грубой линией, что уродует женское лицо, а напротив, той благородной, четкой линией, которая придает лицу законченность и говорит о породе. В профиль, эта линия становится особенно заметна - от подбородка к уху тянулась тугая, упругая дуга, делавшая ее похожей на античные камеи.

Когда же она улыбается - а улыбалась она сейчас только глазами и чуть приоткрытыми губами, - становились видны передние зубы. Они были крупнее, чем требовали каноны красоты, не жемчужно-мелкие, а крупные, ровные, с чуть заметной щербинкой между ними - и эта малость делала ее улыбку не холодно-совершенной, а трогательной, живой, почти детской в своей открытости.

Фигура ее, угадываемая под легкой тканью домашнего платья, была сложена с той гармонией, какую редко встретишь в великосветских гостиных, где женщины часто бывают либо излишне пышны, либо излишне сухи. В ней не было ничего лишнего. Небольшая грудь, высокая, дышала ровно и глубоко, и при каждом вздохе батист чуть натягивался, обрисовывая ее фигуру.

Когда она изредка поднималась, чтобы перевернуть ноты, можно было заметить, как длинны и стройны ее руки - от плеча до запястья, с узкой кистью и длинными, чуткими пальцами, которые так естественно ложились на клавиши. Такие же длинные ноги, угадывавшиеся под складками утреннего платья, когда она вытягивала их под инструментом или меняла положение, обещали в походке ту же плавность и грацию, что была во всех ее движениях.

И во всем ее облике, в каждой его черте - от ярко-голубых глаз до крупных передних зубов, от пепельных кудрей до длинных, чутких пальцев - сквозило одно: жизнь. Казалось, эта женщина создана для счастья - для любви, для музыки, для долгих летних вечеров в кругу семьи, для того ровного, ясного существования, какое должно быть наградой за красоту и молодость.

Музыка лилась из-под ее пальцев, и солнце поднималось все выше над столицей, и ничто в этом утре не предвещало той страшной вести, что уже летела к ней по мостовым, запечатанная в казенный конверт с сургучной печатью.

— Татьяна. — голос матери врывается в музыку, как холодный сквозняк в натопленную комнату.

Пальцы на мгновение замирают над клавишами, но она не оборачивается. Еще один аккорд - тихий, затухающий - и только потом руки опускаются на колени. — Я слышу, матушка. — отвечает Татьяна.

Мать стоит в дверях гостиной. Она уже одета по-дневному - темное шелковое платье, волосы убраны строго, без единого намека на кокетство. Прямые темно-коричневые волосы стянуты на затылке в тугий узел, открывая лицо, в котором Татьяна, как ни старается не замечать этого, узнает собственные черты. Та же форма челюсти, тот же рисунок скул. Только глаза дают осознание родства.

Мать заходит в комнату и останавливается у окна, спиной к свету. Солнце очерчивает ее фигуру, и Татьяне на мгновение становится не по себе от этой внезапной тени, упавшей на ноты.

— Чего это ты решила поиграть с утра? — говорит мать не столько с упреком, сколько с тем особенным холодком, который она умеет вкладывать в самые обычные слова. — Люди в городе только и говорят что о приговорах, а у тебя музыка.

Татьяна медленно закрывает крышку фортепьяно. Движения ее спокойны, но пальцы чуть дрожат - этого мать не видит. — А что мне делать, матушка? Сидеть и ждать, сложа руки? Я жду уже полгода. С декабря жду.

— Ты ждешь не того, — мать отворачивается от окна и теперь смотрит прямо на дочь. Взгляд у нее тяжелый, испытующий. — Ты ждешь, что все обойдется. Что его помилуют. Что император явит милосердие. А я тебе скажу: не на что надеяться. И не на того ты надеялась с самого начала.

Татьяна поднимается. В движении этом - попытка уйти от разговора, но мать уже вошла во вкус, и остановить ее так же легко, как остановить воду в половодье.

— Я тебя предупреждала, — продолжает мать, и голос ее крепнет с каждым словом. — Еще тогда, когда он только начал ездить к нам. Говорила: не пара он тебе. Не потому что беден - бог с ним, с богатством. А потому что в глазах у него огонь нехороший. Читает не те книги, дружит не с теми людьми. Я тогда еще твоему батюшке говорила...

— Матушка, прошу вас... — перебивает мягко Татьяна, как та поднимает руку властным жестом и продолжает.

— Ты думала, я не знаю, кто бывает в этом доме, когда меня нет? Хороша компания для моего зятя! И в декабре этот позор... — голос матери срывается на шипение. — Я тогда сказала твоему отцу: вот оно, плоды вольнодумства. Вот что бывает, когда дворяне забывают свой долг перед государем.

— Он не забывал долг! — Татьяна чувствует, как кровь приливает к лицу. — Он исполнял его иначе, чем вы понимаете, но...

— Молчи! — мать делает шаг вперед, и теперь они стоят друг против друга, как противницы. — Он поднял руку на законную власть. Он вышел на площадь против государя. А ты... ты сидишь здесь, играешь на фортепьяно и ждешь...

Слезы застилают глаза, но Татьяна не позволяет им пролиться. Она смотрит на мать и видит - впервые, может быть, так ясно - ту пропасть, что пролегла между ними.

— Я жду его, — говорит она тихо, но твердо. — Я жду мужа. И что бы вы ни говорили, матушка, я люблю его.

— Любовь! — мать почти выплевывает это слово. — Любовь погубит тебя. И не только тебя. Ты о сыне подумала? О Сереже? — имя ребенка повисает в воздухе, и в ту же секунду, словно вызванный этим словом, в гостиную вбегает мальчик.

Сережа влетает стремительно, как и подобает семилетнему ребенку, которому наскучило сидеть в детской с гувернанткой. Он останавливается на пороге, переводит дыхание и только потом замечает, что в комнате тишина и обе женщины смотрят на него.

— Маменька! — кричит он и бросается к Татьяне, обхватывая ее ноги. Она наклоняется, гладит его по голове, и рука ее дрожит уже не от гнева - от нежности, от той огромной, невыносимой любви, которая сейчас смешана с горечью.

Сережа поднимает лицо. Волосы у него такие же, как у матери, — пепельно-русые, с золотистым отливом, но они не вьются теми же крупными кольцами. Его волос прямой и длин. Когда он улыбается, становятся видны зубы - и в этой улыбке та же материнская черта: передние зубы крупные, с чуть заметной щербинкой между ними. Но все остальное - разрез глаз, форма носа, линия бровей - уже сейчас, в семь лет, обещает, что мальчик пойдет в отца.

— Ты чего такая грустная, маменька? — спрашивает Сережа, заглядывая ей в лицо. — Ты плакала?

— Нет, милый, — Татьяна улыбается сквозь слезы. — Это просто... солнце так светит, что глаза щиплет.

— А бабушка чего сердитая? — Сережа переводит взгляд на мать Татьяны.

Мать смотрит на внука, и в глазах ее на мгновение мелькает что-то похожее на боль. Она молчит.

— Сережа, ступай в детскую, — говорит Татьяна мягко. — Я скоро приду, и мы пойдем гулять. Хорошо?

— Пойдем к реке? Корабли смотреть?

— Да, милый. Ступай. — Сережа убегает так же стремительно, как вбежал. Топот его ног затихает в глубине квартиры.

Мать и дочь стоят молча. Солнце уже переместилось, и теперь золотой луч падает на то место, где только что стоял Сережа.

— Ты слышала, что я сказала, — произносит мать наконец. Голос ее потерял прежнюю остроту, стал усталым. — Одумайся, пока не поздно. — Выходит она, не дожидаясь ответа.

Татьяна остается одна. Она смотрит на закрытое фортепьяно, на ноты, на солнечный зайчик, дрожащий на паркете. Потом медленно подходит к окну и смотрит на реку.

Там, за рекой, - столица. Там, в крепости, может быть, сейчас решается судьба. Приговор ее мужу.

Татьяна отходит от окна и направляется в прихожую. Там прохладно и сумрачно после залитой солнцем гостиной. Она садится на маленькую банкетку у стены и складывает руки на коленях. Отсюда видна входная дверь. Слышно, как шаркает по плитам прихожей, как тикают часы в гостиной, как где-то далеко кричат извозчики на набережной.

Известие придет рано или поздно. Она это знает так же точно, как знает, что солнце встает на востоке. И она встретит его лицом к лицу.

Проходит время. Татьяна сидит неподвижно, положив ладонь на ладонь, и смотрит на дверь. Темное дерево, медная ручка, узкая полоска света под порогом - ничего не меняется. Только тень от напольных часов медленно ползет по стене, отмечая время, которое тянется бесконечно.

Шесть месяцев. Полгода. С того самого декабря, когда столица гудела, как потревоженный улей, когда по городу разносились слухи - один страшнее другого, когда она впервые за свою жизнь не знала, молиться ей или рыдать. Татьяна живет в этом странном состоянии - между надеждой и отчаянием.

Она вспоминает тот день начала зимы. Как выпал снег, крупными хлопьями, как она стояла у этого самого окна и ждала мужа. Тогда он уехал утром и сказал лишь, что будет важное дело. Волноваться не стоит. Он улыбнулся той особенной улыбкой, когда глаза серьезные, а губы пытаются шутить. Татьяна тогда не придавала этому значения. Мало ли дел у мужа в столице? Знакомые, собрания, служба... Но к вечеру поползли слухи. Площадь. Войска. Картечь. Мертвые.

Она не спала трое суток. Сидела у окна, смотрела на занесенную снегом набережную, ждала. Каждый звук шагов в подъезде заставлял сердце обрываться. Каждый звон колокольчика - замирать.

На четвертый день пришли жандармы. Вежливые, подчеркнута корректные. Обыск. Бумаги. Вопросы. Она отвечала спокойно, как учил муж: «Не знаю. Не ведаю. В дела мужа не посвящена». Они ушли, забрав часть книг, какие-то письма, но ее не тронули.

А потом началось ожидание.

Сначала она надеялась. Говорила себе: он не мог. Он не такой. Он слишком умен, слишком осторожен. Это ошибка, недоразумение. Она молилась, жгла свечи перед образом, ездила в церковь и стояла там часами, пока ноги не начинали подкашиваться.

Потом пришли первые имена. Знакомые фамилии. Те, кого она видела в этом доме, с кем пила чай, кому улыбалась. Их взяли.

А Михаила все не было.

Мать тогда сказала: «Чем дольше молчат, тем хуже. Значит, дело серьезное.» Она помнит, как тогда сорвалась, закричала что-то, убежала в спальню и рыдала в подушку, чтобы Сережа не слышал.

Потом наступило оцепенение. Она перестала ждать вестей - просто жила. Механически вставала по утрам, пила чай, играла с Сережей, читала ему книги, выходила гулять на набережную.

режную. Но внутри, в самой глубине, поселилась холодная, тяжелая пустота. Она носила в себе эту пустоту, как носят тяжелого ребенка - не сбрасывая ни днем, ни ночью.

По ночам она разговаривала с ним. Представляла, что он рядом, в той же комнате, что можно повернуться и увидеть его профиль при свете луны. Она шептала в темноту: «Ты думаешь обо мне?». И молчание было единственным ответом.

Страх казни пришел не сразу. Сначала она не допускала этой мысли - слишком чудовищной, слишком неправдоподобной. Дворяне, офицеры, герои войны... Их не казнят. Государь милостив. Он простит. Он помилует.

Но потом, в долгие бессонные ночи, когда тишина давила на уши, а сердце колотилось где-то в горле, мысль эта приходила. Тоненькая, как игла. И оставалась.

— Что, если казнят?

Она гнала эту мысль, как гонят назойливую муху. Зажигала свечу, брала книгу, читала вслух псалмы - лишь бы не думать, лишь бы заглушить этот внутренний голос. Но мысль возвращалась. И с каждым днем, с каждой неделей становилась все навязчивее, все реальнее.

Она видела сны. Страшные, черные сны, в которых муж стоял на эшафоте, в белой рубахе, с веревкой на шее. Она просыпалась в холодном поту, садилась на кровати и долго сидела, глядя в одну точку, пока дыхание не выравнивалось.

А потом шептала в пустоту: «Нет. Этого не будет. Бог не допустит». Но Бог, кажется, молчал. Или говорил что-то, чего она не могла расслышать за собственным ужасом.

Она перестала выезжать в свет. Знакомые сначала заезжали, пытались выразить сочувствие, но она чувствовала за их словами любопытство, смешанное с осуждением. «Ах, бедная, какой удар...», «Ах, кто бы мог подумать...», «Всегда казался таким порядочным...» Она перестала принимать гостей. Сидела дома. Ждала.

И вот теперь, сидя в прихожей на жесткой банкетке, она вновь думает о нем, но в впервые за полгода не гонит страшные мысли. Пусть приходят. Пусть смотрят в глаза. Она готова.

— Господи, — шепчет она одними губами. — Пусть живой. Пусть только живой. Все остальное я вынесу.

Стук в дверь раздается внезапно, что Татьяна вздрагивает всем телом. Сердце на мгновение останавливается, потом бьется где-то в горле, тяжело и гулко. Она встает. Подходит к двери. Медлит секунду - рука уже на холодной бронзе ручки. Потом решительно поворачивает.

На пороге стоит курьер в форменной шинели. Молодой, с чуть испуганным лицом - видно, не впервой ему приносить дурные вести, но привыкнуть нельзя. В руках у него пакет. Толстый, с сургучной печатью.

— Сударыня, — говорит он, и голос у него срывается. — Вам. Из канцелярии генерал-губернатора.

Татьяна берет пакет. Пальцы ее не дрожат - странное спокойствие нисходит на нее в это мгновение. Она смотрит на печать, на герб, на казенную надпись. — Подождите, — говорит она курьеру.

— Мне бы расписку, сударыня...

— Конечно. Сейчас.

Татьяна уходит в гостиную, оставляя дверь открытой. Там, на маленьком столике у окна, лежит перо и чернильница. Она ставит пакет на стол, но не открывает его. Сначала берет лист бумаги, макает перо и четко, по-французски выводит свою фамилию. Расписка готова.

Возвращается в прихожую, протягивает листок курьеру. Тот прячет его в сумку, кланяется и уходит, почти бегом спускаясь по лестнице. Татьяна закрывает дверь. Прислоняется к ней спиной. Закрывает глаза.

Тишина.

Она стоит так долго - может быть, минуту, может быть, пять. Времени больше не существует. Есть только тяжесть пакета в руке и глухой стук собственного сердца.

Потом она открывает глаза и смотрит на конверт. Сургучная печать - орел, герб, казенная строгость. Там, внутри, - приговор. Она знает это так же точно, как знает, что за окном все еще светит солнце, хоть и на самом деле лучи солнца давно закрыли облака.

Татьяна не спешит открывать конверт. Эти последние секунды неведения тревожат ее сердце настолько сильно, как не тревожили никогда.

— Господи, — шепчет она одними губами. — Да будет воля Твоя. — пальцы рвут бумагу. Хруст сургуча. Шорох листа. Она читает. Слова прыгают перед глазами, но смысл встает сразу, целиком, как глыба льда, которую невозможно сдвинуть.

«...по приговору Верховного уголовного суда Михаил И.Я. ... лишение чинов и дворянства... ссылка в каторжные работы...»

Казнь заменена каторгой.

Она перечитывает снова. И снова. Слова те же. Михаил - ее муж, жив.

Татьяна не рыдает, не бьется в истерике - просто плачет, тихо, облегченно, благодарно.

Она не сразу понимает, но перечитав осознает. Каторга. Сибирь. Навсегда.

Татьяна вновь и вновь опускает глаза и перечитывает строки, которые в самом начале пропустила со своего взгляда. Михаила она больше не увидит никогда.

— Нужно ехать за ним. — бьет эта мысль ее разум, как гром зимой. Сама не поверив, в это, Татьяна подносит лист к самому лицу, вглядывается в казенные строки, ищет между строк то, что не написано. Ни слова о женах. Казенный язык не знает таких вопросов.

Татьяна встает, прячет письмо в карман домашнего платья и идет в детскую. Ноги не слушаются, идут как чужие, но она заставляет себя двигаться. Надо увидеть Сережу. Надо прижать его к себе.

Сережа сидит на ковре, строит из деревянных брусков что-то похожее на крепость. Увидев мать, вскидывает голову и улыбается. — Маменька! Смотри, что я строю! Это крепость, тут солдаты живут, а тут пушки, чтобы стрелять...

— Красиво, милый, — Татьяна садится рядом на корточки, гладит его по кудрявой голове. — Очень красиво.

— Маменька, а ты чего? — Сережа вдруг перестает играть и внимательно смотрит на нее. — Ты опять плачешь?

— Что? Нет, милый. Это просто... — она не договаривает. Прижимает его к себе, вдыхает запах его волос — детский, теплый, с примесью мыла и чего-то неуловимо родного. — Я тебя очень люблю. Ты знаешь это?

— Знаю, — отвечает Сережа с невозможностью пошевелиться. — Я тоже тебя люблю. А папа когда приедет?

Татьяна молчит. Потом тихо отвечает. — Папа приедет не скоро, Сережа. Очень не скоро. Но мы... мы постараемся его увидеть. Ты хочешь увидеть папу?

— Хочу! — кричит Сережа. — Он обещал мне саблю привезти. Настоящую!

— Привезет, — шепчет Татьяна. — Обязательно привезет.

Она целует его в макушку и выходит из детской. Останавливается в коридоре, прислоняется к стене и закрывает глаза. Татьяна понимает, какой разговор ожидает ее с матерью...

Глава 2

Канцелярия

Экипаж сворачивает на знакомую улицу. Здесь, в этой части города, все дышит властью и порядком: строгие фасады, чисто выметенные мостовые, редкие прохожие, которые идут не спеша, но с тем особенным выражением, какое бывает у людей, привыкших к близости высоких присутствий. Татьяна бывала здесь прежде, с отцом, с Михаилом, - но никогда с таким чувством, как сегодня.

Утро следующего дня столица встречает ее свинцовым небом. Река потемнела, стала серой, неприветливой, и ветер погнал по ней мелкую рябь, как морщины по старому лицу. Татьяна сидит в наемном экипаже, глядя сквозь мутное стекло на проплывающие мимо здания, и думает о том, что этот город, который она всегда любила, сегодня кажется чужим.

Татьяна вспоминает взгляд своей матери, когда она спешила в столицу. Даже не позавтракав, был у них контакт - долгий, с тяжелым взглядом, в котором смешались гнев, горечь и что-то похожее на омерзение. Дочь и мать не проронили ни слова. Все было сказано вчера.

Извозчик останавливается у высокого здания с колоннами. Татьяна выходит из экипажа и на мгновение замирает, глядя на фасад. Здание это она знала прежде - сколько раз проезжала мимо, сколько раз видела его в парадных альбомах с видами столицы. Но никогда не рассматривала так, как сейчас, - словно что-то трепетное в нем пропало, когда она увидела его вблизи.

Здание в крепости выдержано в строгом классическом стиле, том самом, что завещал столице великий зодчий прошлого века. Фасад тянется вдоль горизонта ровной, торжественной линией, и восемь высоких колонн коринфского ордера поддерживают тяжелый фронтон с лепным гербом империи. Колонны эти из серого гранита, холодные, гладкие, безупречные - они стоят здесь уже полвека, и столько же люди входят между ними в эти двери с прошениями, с жалобами, с надеждами, и выходят обратно с приговорами, с отказами, с пеплом надежд вместо живого огня.

Капители колонн увиты каменными акантами - листья эти, застывшие в вечности, кажутся Татьяне зловещими. Ничего живого, ничего теплого. Камень, геометрия, порядок.

Парадный подъезд строг, без излишеств - ни лепнины лишней, ни позолоты. Но именно в этой строгости чувствуется сила. Та сила, перед которой она сейчас предстанет. Бронзовые ручки дверей начищены до слепящего блеска - солнца нет сегодня, но ручки все равно горят темным, глубоким золотом, отражая серый свет неба. Кто-то каждое утро протирает их, стирает следы сотен рук, оставивших на бронзе свой пот, свою дрожь, свое отчаяние. К утру они снова чисты, холодны, безупречны - как и те решения, что выносятся внутри.

У дверей, в нише, застыл швейцар. На нем ливрея - темно-зеленая, с золотым галуном, высокий стоячий воротник, треугольная шляпа. Он стоит неподвижно, как статуя, как те каменные аканты на капителях, - и только глаза его живые, темные, всевидящие. Они скользят по Татьяне, оценивают, взвешивают, определяют - кто, зачем, стоит ли пропускать или задерживать вопросом. В этих глазах нет ни подобострастия, ни высокомерия - только знание своего места и своего дела. Он здесь столько лет, что научился отличать важных господ от просителей, истинное горе от актерства, решимость от истерики. По одному взгляду, по походке, по тому, как женщина держит голову.

Татьяна ловит себя на мысли, что ей страшно подойти к этой двери. Но выбора нет. Она делает шаг. Второй. Поднимается по трем низким ступеням — гранит их истерт тысячами ног до зеркальной гладкости, и в этом зеркале отражается низкое небо.

Швейцар оживает. Легкий наклон головы, вопрос, брошенный буднично, но с той особенной интонацией, какой говорят с теми, кто еще не прошел, кто стоит на пороге — К кому изволите?

— Я по делу, — отвечает Татьяна, и голос ее звучит ровно, хотя внутри все дрожит. — Относительно приговора по делу государственных преступников. Моя фамилия...

— Проходите, сударыня, — перебивает швейцар, видимо, уже осведомленный. — Второй этаж, третья дверь налево.

Она поднимается по широкой лестнице. Каждая ступень отдается в груди глухим ударом. На втором этаже коридор длинный, полутемный, освещенный только редкими окнами во двор. Третья дверь налево — обитая темной кожей, с медной табличкой, на которой выгравировано что-то казенное, многословное.

Татьяна стучит.

— Войдите. — голос изнутри говорит равнодушным, усталым.

Она входит.

Кабинет невелик, но высок. Окно выходит во двор, и свет здесь серый, скудный, неживой. Стены крашены казенной зеленой краской, какие бывают во всех присутственных местах империи. В углу - высокий шкаф с делами, на столе - горы бумаг, чернильница, песочница, колокольчик. За столом сидит чиновник.

Он немолод, лет пятидесяти, с гладко выбритым лицом и тем особенным выражением равнодушной усталости, какое бывает у людей, которые годами читают чужие приговоры, чужие прошения, чужие слезы. Мундир на нем застегнут на все пуговицы, волосы причесаны гладко, с пробором. На него глядя, невозможно представить, что он когда-то был молод, что у него есть дом, семья, что он вообще человек - так прочно сросся он с этим зеленым кабинетом, этими бумагами, этим казенным воздухом.

— Садитесь, сударыня, — говорит он, не поднимая глаз, кивая на стул перед столом. — Скажите имя свое.

— Татьяна.

— Татьяна... — он заглядывает в какую-то бумагу, сверяясь. — Татьяна Александровна? Супруга государственного преступника Михаила... — чиновник называет фамилию, и от того, как ровно, буднично звучит это слово «преступник», у Татьяны холодеет внутри.

— Да, — тихо отвечает она.

Чиновник поднимает глаза. Смотрит на нее равнодушно, оценивающе - не как на человека, а как на очередную бумагу, которую надо обработать.

— Вы явились по собственному желанию, или вас вызвали?

— По собственному.

— Понятно. — он кивает, словно именно этого и ожидал. — Жены часто приходят. Редко доходят до конца, но приходят почти все. — в голосе его нет ни осуждения, ни сочувствия. Просто констатация факта. — По какому вопросу Вы явились?

— В первую очередь, я хотела бы убедиться, что Михаил жив. — отвечает Татьяна.

— То что было сказано в письме, отправленное к Вам вчера, является действительным. Казнь заменена каторгой. Хотя что лучше? Пойти на войну или быть ссыльным в Сибирь.

— Встреча... — не успевает сказать полностью Татьяна.

— Невозможна. — как ее перебивает грозный голос. — Вашего супруга отправят далеко и на долго. Не просто за Урал, прощаясь с Европейской Россией навсегда, а за Байкал. Вы даже знать не знаете, где это.

Хоть Татьяна и знала, какие новые земли государство берет под себя, но про Байкал она действительно слышала первый раз. Это не рассказы о пейзажах Франции и ее красотах, не о столице, где она родилась. Как будто это новый мир.

— И все же. Почему встреча невозможна? В чем причина? — спрашивает пропавшим голосом Татьяна.

— Действия, после решения приговора, были исполнены немедленно. Пятерых «лидеров» протеста уже вчера казнили повешением. А более ста людей уже сегодня отправляются вон из столицы.

Татьяна ошарашена и стоит неподвижно перед чиновником, который пару секунд смотрел на нее, а после уткнулся в свои дела.

— На этом Ваш визит окончен... — говорит чиновник.

— Я последую за ним. — как резко громом перебивает Татьяна все остальные мысли чиновника и его слова.

Немного тишины и он простым движением открывает верхний ящик стола, достает оттуда несколько листов плотной бумаги, исписанных каллиграфическим почерком. Кладет перед собой, разглаживает ладонью.

— Итак, сударыня. Я обязан разъяснить вам последствия вашего решения. — переводит внимательный взгляд он на Татьяну. — Вы слушаете?

— Слушаю.

Чиновник начинает читать. Голос его ровен, монотонен - он читает так, как читают столыповые бумаги или списки поставок, без тени волнения, без пауз.

— «Вследствие добровольного желания следовать за мужем Михаилом Яковличевым, осужденным к каторжным работам, жена его Татьяна Александровна, согласно существующим установлениям, подвергается следующим ограничениям: первое - лишается всех прав состояния, дворянского достоинства и фамильных привилегий, принадлежавших ей по рождению и по браку; второе - имущество ее, как благоприобретенное, так и родовое, поступает в опекуновское управление, и она не вправе распоряжаться им впредь до особого разрешения; третье - право на возвращение в столицы и губернии Европейской России утрачивается навсегда, независимо от перемены обстоятельств; четвертое - дети, рожденные в Сибири, записываются в государственные крестьяне и не наследуют никаких прав родителей, кроме тех, что будут дарованы им особой милостью государя; пятое...»

Татьяна слушает, и каждое слово ложится на сердце тяжелым, холодным камнем. Она понимает не столько смысл, сколько общую музыку этой казенной речи: отказ. Отказ от всего, что составляло ее жизнь. От имени, от дома, от прошлого, от будущего.

— Что касается вашего сына, — продолжает чиновник, отрываясь от бумаги. — Ребенок, рожденный до осуждения отца, остается в России. Взять его с собой вы не можете.

Татьяна молчит. В горле стоит ком, который невозможно проглотить. Она понимала, что может сложиться все так. Мать навязала ей эти плохие, несчастливые мысли вчера. Слышать такое от казенного человека, читающего по бумаге, — дает всему этому неотвратимость закона государя.

— Вы понимаете, сударыня, что подписываете? — спрашивает чиновник, откладывая бумагу.

— Понимаю. — еле как говорит эти слова из себя Татьяна.

— Вы теряете все. Двери закроют перед вами свет. Вы станете никем - женщиной без имени, без состояния, без будущего. И все это - ради человека, которого вы, возможно, никогда больше не увидите таким, каким знали прежде? — спрашивает чиновник Татьяну без жестокости, даже с какой-то доброжелательностью, как говорят о дожде или о плохой дороге.

Татьяна смотрит на него и видит вдруг не чиновника, а человека. Человека, который за долгие годы насмотрелся на такие сцены, который научился не чувствовать, потому что чувствовать - значит не выжить в этой зеленой комнате, среди этих бумаг.

— Я понимаю, — говорит она тихо. — Где подписать?

Чиновник молча пододвигает к ней лист и указывает пальцем на нижнюю строку — Здесь. Полностью имя, фамилия и звание, под которым вы значитесь. После подписания вы более не имеете права им пользоваться, но для юридической силы документа оно необходимо.

Татьяна берет перо. Чернильница стоит открытая, перо уже очинено - все готово, все предусмотрено. Она макает перо, заносит его над бумагой - и на мгновение замирает. Мысли проносятся вихрем. Она видит отцовский дом в имении, где прошло ее детство. Видит балы, на которых она впервые выехала в свет. Видит свое венчание - как шла под венец в белом платье, как Михаил смотрел на нее, и в глазах его было столько счастья, что она думала тогда, вот оно, навсегда.

— За свободу и лучшее для родной страны, нужно бороться, — проносятся перед Татьяной слова Михаила. — и даже если я... мы не увидим нашу мечту, то оставим следующему поколению шанс на исполнение этой мечты.

Перо опускается на бумагу.

Она пишет четко, старательно, как учили в детстве, - с нажимом, с завитушками, которые положены дворянской подписи. Имя. Фамилия. Звание, которое через минуту перестанет существовать.

Перо скрипит по бумаге. Последняя буква. Точка.

Она откладывает перо и поднимает глаза на чиновника. Тот кивает, берет лист, посыпает песком, чтобы просохли чернила, стряхивает песок обратно в коробочку. Все движения его отточены, привычны - сотни таких подписей он уже видел.

— Можете быть свободны, сударыня, — говорит он, не глядя на нее. — Вам придет извещение, когда и куда следовать. Ждите.

Татьяна встает. Ноги плохо слушаются, но она заставляет себя держаться прямо. У двери оборачивается. Хочет что-то сказать - спасибо? прощайте? - но может. Да и не нужно ничего говорить. Чиновник уже углубился в бумаги, и для него она уже не существует.

Она выходит в коридор. Длинный, полутемный, все тот же. Идет к лестнице, и каждый шаг отдается в груди эхом.

На улице ливень обрушивается на столицу внезапно, как удар бича.

Татьяна выходит на крыльцо и останавливается под колоннадой, глядя на серую пелену дождя. Капли бьют по бронзовым ручкам дверей, сбегает по каменным акантам капителей, и кажется, что колонны плачут - плачут тем холодным, каменным плачем, какой не согреет ничья жалость.

Низкие тучи бегут над столицей, но теперь они не просто несут сырость - они разверзлись, и вода падает с неба так, словно само небо решило оплакать то, что свершилось в этих стенах. Ливень шумит, заглушая шаги прохожих, цокот копыт, даже крики чаек - а чайки кричат над рекой тревожно, пронзительно, мечутся над потемневшей водой, не находя места.

Сама река вздулась, потемнела до черноты, и волны бьют в гранит набережной с какой-то злой, неутолимой яростью. Река, всегда величавая, всегда спокойная, сегодня кажется живым существом - разгневанным, скорбным, готовым поглотить все, что попадет на пути.

Татьяна стоит под колоннадой, а вода с крыши срывается тяжелыми каплями у самого края ступеней, и брызги долетают до ее ног, холодят щиколотки сквозь тонкую кожу ботинок. Она поднимает воротник, ловит единственного извозчика, что рискнул стоять под ливнем в надежде на седока, и называет адрес. Домой. К последним дням прошлой жизни.

Экипаж трогается, и столица плывет мимо нее серая, размытая дождем. Вода стекает по стеклам, искажая очертания домов, превращая знакомый город в зыбкое, неверное марево. Татьяна смотрит в это марево и видит перед собой лицо Михаила. Он стоит перед ней, сквозь дождь, сквозь стекло, сквозь версты, что их разделяют.

Глава 3

...Нужно готовится.

Экипаж останавливается у знакомого подъезда. Ливень все также бушует. Татьяна расплачивается с извозчиком и поднимается по лестнице. Ноги не слушаются, руки дрожат - не от холода, от того, что сделано.

Дверь открывает горничная, испуганно глядит на промокшую барыню, но Татьяна проходит мимо, не раздеваясь, прямо в гостиную.

Там сидит мать в кресле у окна - в руках у нее вязанье, но пальцы не движутся, спицы застыли. Кажется, она ждала. Лишь свечи в канделябрах оплыли, и тени от них мечутся по стенам, когда сквозняк колышет пламя.

— Вернулась, — говорит мать, не поднимая глаз от вязанья. — Ну?

Татьяна проходит в комнату, садится напротив. Молчит минуту, собираясь с мыслями. Потом говорит тихо, но твердо. — Я подписала.

Спицы в руках матери останавливаются. Тишина становится такой плотной, что, кажется, ее можно потрогать.

— Подписала что? — голос матери звучит ровно, но Татьяна чувствует в нем ту дрожь, которую ничем не скроешь.

— Бумагу. Отказ от прав, от имущества, от... — она не договаривает. Голос ее срывается. — Все, что у нас было, больше не принадлежит мне. Дом, сбережения, имя. Все.

Мать медленно откладывает вязанье на столик. Теперь она смотрит на дочь - тяжело, испытующе. — Ты понимаешь, что ты сделала? — мать подается вперед, голос ее крепнет. — Ты не просто подписала бумагу. Ты отреклась от всего, что у тебя было. От дома, от имени, от будущего. Ты больше не дворянка, не...

— Я жена, — перебивает Татьяна. — Я жена Михаила. И это единственное звание, которое я хочу сохранить.

— Жена! — Мать почти выкрикивает это слово. — Ты жена государственного преступника, и это звание принесет тебе только страдания и боль. Да кто вообще на тебя смотреть будет с каким либо уважением, честью? Может ты думаешь, он будет тебе благодарен? Нет! Преступник есть преступник.

Мать смотрит на нее долгим, тяжелым взглядом. В глазах ее - гнев, горечь, страх, но, кажется, впервые за эти месяцы, - уважение. Она не узнает эту дочь, которая всегда была тиха, покладиста, послушна.

— Я выдержу.

— Ты не знаешь, что говоришь. — мать встает, подходит к окну, смотрит на дождь, на серую реку, что всегда спокойна, но этот ливень делает ее сегодня грозной. — Я так понимаю, его отправили на каторгу, раз тебе дали право отказаться от себя?

— Вы все верно понимаете.

— Каторга - это не роман, не поэма, не то, о чем пишут в книгах. Не считай, что твой Михаил останется тем самым человеком, в которого ты влюбилась. Через год ты его не узнаешь. Через два - возненавидишь. А через три - сама станешь такой же.

Плечи матушки вздрагивают - кажется, она плачет, но Татьяна не видит ее лица. Она стоит секунду, глядя на эту согбенную спину, на руки, сжимающие подоконник. Татьяна хочет подойти, обнять, сказать что-то теплое - но знает, что сейчас это будет ложью. Между ними пролегла пропасть, и эту пропасть не заполнить ни объятиями, ни словами.

— Я еду, матушка, — говорит она тихо. — И ничто меня не остановит.

Мать оборачивается. В глазах ее - слезы. Татьяна никогда не видела мать плачущей, и это зрелище страшнее любых слов.

— Ты губишь себя, — шепчет мать. — Ради чего? Ради него? Ради того, что он наделал?

— Ради того, что он есть. — Татьяна встает, подходит к матери, берет ее за руку. Рука холодная, жесткая, но Татьяна не отпускает. — Я люблю его, матушка. Я не знаю, как объяснить это словами. Я не умею. Но если я сейчас останусь, я предам не его - я предам себя. И я не смогу жить с этим.

Мать смотрит на нее долгим, тяжелым взглядом. В этом взгляде - все: и гнев, и боль, и странная, невысказанная гордость. Потом она выдергивает руку и отворачивается к окну.

— Делай что хочешь, — говорит она глухо. — Ты всегда делала только то, что хочешь. С детства... но Сережу я тебе не отдам. Не проси. Это убийство - везти семилетнего ребенка в Сибирь. Там ему не место.

Татьяна понимает это. И все же слова матери вонзаются в сердце, как нож.

— Я не прошу, — говорит она. — Я знаю.

В комнате зависает молчание, которое только перебивает ливень за окном.

— Я вернусь, — шепчет она. — Когда-нибудь. Я вернусь за ним.

— Не вернешься! — мать качает головой. — Ты сама подписала бумагу. Ты больше не имеешь права вернуться. Никогда. Даже если он умрет, даже если они тебя отпустят - ты не вернешься. Ты это знаешь. Ты знаешь, что отдала все.

Татьяна все понимает. Она знает все, что говорит мать. Но также она знает и другое: есть вещи, которые сильнее страха. Сильнее закона. Сильнее смерти.

— Я еду, матушка, — повторяет она, и голос ее не дрожит. — Простите меня. Но я еду. Татьяна разворачивается и выходит из гостиной, не дожидаясь ответа.

В коридоре она останавливается, прислоняется к стене, закрывает глаза. Сердце колотится где-то в горле, и слезы текут по лицу, но она не вытирает их. Пусть текут. Она заслужила эту боль.

Из детской доносится голос Сережи - он поет что-то негромко, детскую песенку про солнышко и лето. Татьяна стоит и слушает этот голос.

— Господи, — шепчет она. — Дай мне сил. Дай мне сил все вынести.

Говорит Татьяна это от того, что не может пойти сейчас к Сереже и обнять его. Сыночек не должен больше видеть ее слезы.

С того дня проходит несколько дней. Или неделя, — время теперь движется иначе, не так, как прежде. Оно то сжимается, заставляя Татьяну оглядываться и видеть, как быстро летят дни, то растягивается в бесконечные, тягучие часы ожидания.

Из канцелярии приходит извещение. На гербовой бумаге, сухо и четко: сборы закончить к началу сентября, следовать в байкальское поселение, где ожидать дальнейших распоряжений. Татьяна перечитывает эти строки и понимает - нужно готовиться.

Считает дни. От столицы до того байкальского селения - больше пяти тысяч верст. По осенним дорогам, через грязь и распутицу, с перекладными лошадьми, с ночевками на станциях - если повезет. Если нет - в кибитке, под открытым небом. Татьяна складывает в уме версты, умножает на дни, делит на часы. Цифры не утешают: дорога займет больше месяца. Может быть, два. Но это лишь грубый анализ. К Уралу она подъедет в ноябре, когда там уже холода. А дальше зима, когда морозы сковывают реки, когда снег заваливает тракты и единственная дорога - это зимник, и то если повезет.

Она должна ехать. Должна осилить все это. Иначе - смерть.

Татьяна садится за стол, берет лист бумаги и начинает писать список необходимого в пути. Список того, что нужно взять. Список того, что нужно оставить.

Первое - сбережения. Денег немного. Отец, узнав о ее решении, прислал небольшую сумму - не говоря ни слова, через доверенного человека. Не пришел сам, не написал письма. Просто прислал. Татьяна понимает: это все, что он может сделать в такой ситуации. Это его прощание. Прячет деньги в потайной ящик комода: на дорогу, на подкуп станционных смотрителей, на зимнюю одежду, на первое время в Сибири.

Второе - одежда. Она никогда не думала о тепле так, как думает теперь. В столичную зиму она куталась в шубы, носила муфты, грелась у каминов - и все это казалось естественным, как дыхание. Теперь она едет туда, где каминов нет, где холод проникает в самую душу.

Она спускается в лавки, ходит по рядам, трогает ткани, спрашивает цену. Меха. Самый теплый, какой можно найти. Овчина, лиса, белка - на что хватит денег. Шерстяные платки, валенки, теплые чулки, рукавицы на меху. Все это она складывает в большой сундук, который когда-то привезла из родительского дома в приданое. Сундук этот - одна из немногих вещей, которые она берет с собой. Символ прошлой жизни, который становится частью будущей.

Она покупает дорожную кибитку. Не карету - карета тяжела, медленна, привлекает внимание. Кибитка - простой, крепкий возок, крытый кожей, с маленьким окошком. В такой кибитке едут купцы, мелкие чиновники, те, кто не может позволить себе роскоши и кто не хочет быть замеченным. Татьяна садится в нее, пробует, как сидится, представляя себе дни и ночи, которые проведет здесь. Узко, тесно, жестко. Но другого выхода нет.

Дорожный погребец так же необходим - сковорода, котелок, чайник, деревянная посуда. Прежде Татьяна никогда не готовила сама. В доме всегда была кухарка. Но теперь она будет одна, в степи, на станциях, где никто не подаст ей обед, если она не попросит и не заплатит. Она учится заворачивать крупу в холщовые мешочки, сушить сухари, укладывать все так, чтобы не занимало много места и чтобы было под рукой.

Далее лекарства. Хину от лихорадки, нашатырь от обмороков, бинты, мази. Она не умеет лечить - но научится. По крайней мере верит в это.

Все эти дни мать не выходит из своей комнаты. Они встречаются только за обедом и ужином, и тогда между ними висит та тяжелая, непроницаемая тишина, которую ни словами не разорвать, ни слезами не смыть. Сережа сидит между ними, переводит взгляд с бабушки на мать и не понимает, почему они молчат. Он еще мал, чтобы понимать, что взрослые могут молчать от боли, а не оттого, что им нечего сказать.

По вечерам, когда мать уходит к себе, а Сережа засыпает, Татьяна садится к столу и считает снова. Версты, дни, деньги. Теплые вещи, лекарства, сухари. Все должно быть рассчитано. Ни одной ошибки. Ни одной лишней копейки. Ни одного лишнего дня.

Она открывает атлас - старый, отцовский, с пожелтевшими страницами. Водит пальцем по карте, рассчитывая весь путь, но до конца не осознавая, каким путь будет на самом деле долгим и трудным. Палец ее останавливается на Байкале, и она долго смотрит на него, словно пытается разглядеть сквозь бумагу, что ждет ее там.

Татьяна не боится. Или боится, но страх этот - не тот, что сковывает и заставляет бежать. Это страх, который держит, не дает отступить, заставляет собираться, рассчитывать, готовиться. Это страх, который превращается в силу.

Среди этих лихорадочных сборов, среди беготни по лавкам, подсчета денег, примерки шуб и укладки сундука Татьяна находит время для самого главного. Каждый день, каждый час, каждую свободную минуту она проводит с Сережей.

Они гуляют по набережной, и она держит его за руку - маленькую, теплую ладошку, которая так доверчиво лежит в ее ладони. Они смотрят на корабли, и Сережа считает мачты, задает тысячу вопросов: почему корабли плавают, куда они плывут, есть ли у них дома, как у людей, и можно ли на таком корабле доплыть до края земли. Татьяна отвечает, стараясь, чтобы голос ее не дрожал, и запоминает каждую его интонацию, каждое слово, каждый смех.

Она читает ему на ночь. Сказки, которые он любит, - про Ивана-царевича, про Жар-птицу, про Сивку-Бурку. Сережа слушает, открыв рот, и иногда засыпает, не дождавшись конца, и тогда Татьяна долго сидит над ним, смотрит на его лицо, освещенное лампадой, на разметавшиеся по подушке пепельные кудри, на приоткрытые губы с крупными передними зубами - ее зубы, ее волосы. Татьяна гладит его по голове, поправляет одеяло и шепчет что-то бессвязное, не слова даже - звуки, молитву, имя.

Они рисуют вместе. Сережа любит рисовать, и Татьяна покупает ему новые краски, новую кисточку, большую стопку бумаги - чтобы хватило надолго, когда ее не будет. Она учит его смешивать цвета, показывает, как нарисовать небо, как сделать, чтобы облака были пушистыми, а трава - зеленой. Сережа старательно выводит каракули, показывает ей и ждет похвалы. Мама хвалит, и у нее сжимается сердце от того, как он радуется.

Иногда, когда Сережа играет или рисует, она садится рядом и просто смотрит. Смотрит, как он хмурит брови, сосредоточенно выводя какую-то линию, как закусывает губу, когда что-то не получается, как смеется, когда у него выходит хорошо. Татьяна знает, что эти дни - последние. Знает, что никогда больше не увидит его таким - маленьким, беззащитным, еще не знающим, что такое потеря. Она пытается запомнить каждую секунду, каждую деталь, каждый звук его голоса.

Сказать сыну, что она уезжает, нельзя. Не может. Слова застревают в горле каждый раз, когда она пытается начать. Сережа чувствует что-то неладное - дети всегда чувствуют, когда

взрослые что-то скрывают, - но не понимает, что именно. Он становится капризнее, чаще просится на руки, не хочет отпускать ее от себя. По ночам он зовет ее, и она приходит, садится рядом, берет его за руку и ждет, пока он снова уснет.

Сборы почти закончены, но отъезд откладывается - то лошади не готовы, то подвода с вещами задерживается, то мелкие, но важные дела требуют присутствия. Татьяна принимает это как волю Божию: последние дни с Сережей растягиваются, словно кто-то невидимый дает ей время на прощание.

В один из таких дней она получает записку. Почерк знакомый, женский, торопливый: «Собираемся сегодня у Натальи. Приезжай, ради Бога». Татьяна долго держит записку в руках, потом прячет в карман. Эта встреча должна была произойти, но она даже не подумала об этом. Те, кто теперь в одной с ней лодке. Те, чьи мужья, братья, возлюбленные - те, кого еще вчера называли цветом нации, гордостью гвардии, надеждой России, - сегодня сидят в казематах, идут по этапу в Сибирь или отправлены на Кавказ, где свинец и штык ждут их с той же неизбежностью, что и каторга. Дамская встреча - без этого никуда.

Дом Натальи на другой стороне реки, в тихом переулке, где еще сохранилась та особенная, столичная тишина, какая бывает только вдали от главных проспектов. Татьяна поднимается по лестнице, и еще на площадке слышит голоса - негромкие, взволнованные, женские. Стучит. Дверь открывает сама Наталья - бледная, с красными глазами, но держится прямо.

— Слава Богу, приехала, — говорит она и обнимает Татьяну.

В гостиной их четверо. Наталья, чей муж - кавалергард, красавец, герой войны - осужден по первому разряду и уже отправлен в Сибирь. Софья, чей жених, молодой поручик, отказался отречься от «славянских бредней» и теперь идет этапом за Байкал. Елизавета, чей брат, совсем мальчик, замешанный в деле по глупости и молодости, разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ - «пусть искупает вину кровью». И еще одна, чьего имени Татьяна не знает, - тихая, в темном платье, сидит в углу и молчит. Говорят, ее муж покончил с собой в каземате, не дождавшись приговора.

Татьяна садится в кресло, принимает чашку чая, но не пьет. Смотрит на этих женщин, таких разных, и видит в каждой себя - ту себя, какой она была еще несколько недель назад. Напуганную, растерянную, не знающую, куда бежать и кого просить о помощи.

— Ну, рассказывай, — говорит Наталья, садясь напротив. — Что у тебя?

— Подписала я бумагу, — Татьяна ставит чашку на стол. — Отказавшись от всего. От имени, от прав, от имущества, от сына.

В комнате становится тихо. Софья опускает глаза, Елизавета сжимает в руках платок.

— И ты... едешь? — спрашивает Наталья.

— Еду. Как только дадут подорожную. В начале сентября.

— Одна? — Это Елизавета. В голосе ее ужас и восхищение одновременно.

— Одна. С кибиткой, с вещами. Дорога дальняя, но я... я должна. — Татьяна замолкает, подбирая слова. — Когда я подписывала ту бумагу, в кабинете у чиновника, я думала только о нем. О том, что он там один. Что ему хуже, чем мне. Что если я не поеду, он не выдержит. А я... я выдержу. Должна выдержать.

— Ты знаешь, что говорят в городе? — Софья поднимает голову, и в глазах ее боль. — Запах свободы. Мужей бросают в наказание, а мы... мы должны сидеть и ждать милости?

— Свобода... — глубоко вдыхает воздух Татьяна в грудь. — Ради нее я и должна быть рядом с Михаилом.

— И ты не боишься? — Елизавета смотрит на нее с тем выражением, с каким смотрят на человека, совершившего невозможное.

— Боюсь, — Татьяна не отводит глаз. — Боюсь каждую минуту. Боюсь дороги, боюсь холода, боюсь, что не доеду. Боюсь, что он меня не узнает, что я его не узнаю. Боюсь, что Сережа вырастет и возненавидит меня за то, что я его бросила. Боюсь всего. Но страх этот

- не тот, что сковывает и заставляет бежать. Это страх, который держит, не дает отступить, заставляет собираться, рассчитывать, готовиться. Это страх дает мне силы.

Женщины молчат. В комнате слышно только, как тикают часы на камине, да где-то далеко кричат извозчики на набережной.

— Расскажи, как это было, — просит Софья. — У чиновника.

Татьяна рассказывает. О зеленом кабинете, о ровном, равнодушном голосе, читающем бумагу. О том, как каждое слово падало на сердце тяжелым камнем. О том, как подписывала - и в ту минуту чувствовала, что отрезает себя от всей прежней жизни. Не сожалея - просто зная, что обратного пути нет.

— А он знает? — спрашивает Наталья. — Твой Михаил? Что ты едешь?

— Не знает, — Татьяна качает головой. — Откуда? Письма не доходят. Это самое страшное. Что он там, один и думает, быть может я забыла его. Что я...

Голос ее срывается. Она замолкает, делает глоток остывшего чая, чтобы взять себя в руки.

— Он узнает, — говорит Софья тихо. — Когда ты приедешь. Он узнает.

— Узнает, — Татьяна кивает. — И это все, что мне нужно.

Они сидят еще долго, говорят о дороге, у кого просить помощи, как писать письма, чтобы они доходили. Обмениваются адресами. Смеются сквозь слезы, вспоминая свои первые балы, первые платья, первые встречи с теми, кто теперь за тысячи верст от них. Они провожают Татьяну.

Встреча заканчивается поздно. В гости она придет не скоро. На улице уже темно, фонари зажжены, и их масляный свет дрожит в черной воде каналов. Она идет пешком, чтобы побыть одной, пережить этот вечер, эти голоса, эти лица.

Она думает о том, что сказала сегодня: «Мы теперь друг для друга сестры». И понимает, что это не просто лесть, а будущие узы. Они поймут ее, чтобы она не сделала.

Вернувшись домой, ее встречает в коридре мать. Смотрит та на свою дочь тяжелым, долгим взглядом. — Была у подруг? — спрашивает мать.

— Да.

— И что?

— Мы просто... были вместе. Простая посиделка.

Мать молчит. Потом говорит. — Ты и правда едешь. — это не вопрос. Татьяна не отвечает - и так все ясно. — Я не прошу тебя, — продолжает мать. — Никогда. Ты оставляешь сына. Ты оставляешь меня. Ты оставляешь все, ради чего мы тебя растили. Ради чего отец... — она не договаривает, маша рукой. — Ступай. Ступай к своему преступнику. Но Сереже я уже рассказала, что ты покинешь дом и уедешь. Куда не знаю.

Татьяне приходится смириться с этими словами. Мать уходит в спальню, закрывая дверь. Ее дочь идет к себе, садится на край постели и долго смотрит в темноту за окном. Последние ночи августа холодны, звезды крупные, яркие, и одна из них, самая яркая, смотрит прямо в ее окно. Может быть Миша видит сейчас те же звезды, что и она?

Она ложится, закрывает глаза и пытается уснуть. Завтра - последний день. Послезавтра - отъезд.

Глава 4

Отъезд

Сундук упакован. Кибитка готова. Деньги спрятаны. Билеты на перекладные лошади заказаны. Татьяна стоит посреди комнаты, оглядывает вещи, которые берет, и вещи, которые оставляет. Фортепьяно - оно останется здесь. Книги - она берет только несколько томов: Пушкина, Библию, «Дон Кихота», который когда-то подарил Михаил. Платья - она берет

только самое необходимое, то, что не жалко испортить в дороге. Все остальное - прошлая жизнь - остается здесь, в этой квартире, в этом городе.

Первые дни сентября встретили столицу хмурым, неприветливым небом.

Татьяна проснулась затемно, еще до того, как в окнах начал брезжить серый рассвет. Она не спала всю ночь - лежала с открытыми глазами, слушала дыхание дома, шаги матери за стеной, скрип половиц в коридоре, тихий плач Сережи во сне. Ей казалось, что она должна запомнить каждую минуту этой ночи.

Когда она подошла к окну, город открылся ей серым, обычным полотном. Татьяна хотела надеяться, родной уголок попросаается с ней прекрасным солнечным днем, но увы. Плотные облака закрыли небо сплошной пеленой - ни просвета, ни луча. Они висели низко, тяжело, словно давили на крыши, на шпили, на купола, на самую землю. Столица кажется выцветшим, стертым, лишенным оттенков красоты. Как бы она хотела больше красок в чудный город.

Река, после недельных дождей, разлилась шире обычного. Вода поднялась, заняла больше пространства, чем в тот день, когда Татьяна узнала о приговоре. Тогда она была спокойна, зеркальна, игривая, отражая ясное небо, а сейчас кажется медленной, скудной в течении. Чувствовалась какая-то неспешная, равнодушная сила. Река не торопилась. У нее было время. У Татьяны его не было.

На набережной - ни души. Обычно в этот час здесь уже прогуливались ранние прохожие, спешили извозчики, дворники мели мостовую. Сегодня улицы стояли пустыми, словно город вымер. Только ветер изредка проносился по мостовой, гнал скомканные листья, и снова наступала тишина. Такая тишина, какая бывает перед чем-то страшным - перед грозой, перед бурей, перед тем, чего не хочется.

Татьяна отошла от окна, оделась в дорожное платье - темное, шерстяное, без украшений, то самое, что купила на прошлой неделе в лавке. В нем она похожа на мещанку, на мелкую чиновницу, хотя предстоит ей стать и вовсе обычной крестьянской. Она смотрит на себя в зеркало и не узнает. Не то чтобы лицо изменилось - нет, все те же глаза, те же волосы, те же губы. Но что-то ушло. Или пришло. Что-то, что делает ее другой.

Она выходит в коридор. У двери Сережиной комнаты останавливается, прижимается лбом к косяку, закрывает глаза. Молитва - не словами, не мыслью, одним только сердцем, которое колотится где-то в горле. — Господи, дай мне сил. Господи, не дай мне сломаться. — проговаривает Татьяна, как Библию.

В прихожей - мать. Стоит в дверях, как статуя, прямая, неподвижная. В руках - образок, маленький, медный, тот самый, что когда-то висел над кроватью самой Татьяны.

— Возьми, — говорит мать, протягивая образок. Голос ее сух, но Татьяна видит, как дрожат пальцы. Татьяна берет образок, прижимает к губам. Мать не двигается с места. Не обнимает, не целует. Стоит в дверях, и лицо ее - маска, но что за ней скрывается, Татьяна не может понять. — Ступай, — говорит мать.

В этот момент из коридора выходит сонный Сережа. Спросонья, он, наверное, ничего не понимает. Просто смотрит на свою маму. Дворник уже вынес сундук, увязал его на кибитке. Татьяне пора выходить. Последним своим взглядом Татьяна, без слов, прощается со своим сыном.

Ямщик, старый, морщинистый, с седой бородой, сидит на облучке, ждет. Татьяна оглядывает свой дом - на тот самый, где провела столько лет, где была счастлива, где теперь остается все, что она любила. Фасад строг, колонны белы, окна закрыты. В одном из них, на втором этаже, мелькает чье-то лицо - мать? Сережа? Она не разбирает. Пора ехать в дальнюю дорогу.

Татьяна садится в кибитку. Кожаный верх, жесткое сиденье, узкое окно - и весь мир, который сужается до этой тесной коробки, где ей предстоит провести будущие времена. Ямщик щелкает кнутом, и лошади трогаются.

Колеса стучат по мостовой. Дом остается позади. Потом - набережная, знакомая, родная, та, по которой она столько раз гуляла. Потом - мост, река, улицы, которые она знает наизусть, и они проплывают мимо, как лица старых знакомых, которых она больше никогда не увидит.

Татьяна смотрит в маленькое окошко и не испытывает никаких эмоций. Слезы кончились. Печаль засела глубоко внутри. А повода для радости теперь придется добиваться. Как бы в ней не осталась пустота, которую невозможно будет заполнить?

Петербург исчезает - за спиной, далеко. Заставы, окраины, поля, леса - все ближе, все быстрее, все необратимее. Татьяна смотрит назад, но город уже скрылся за горизонтом - только дымка, только низкие облака, только дорога, уходящая в никуда.

Она одна в кибитке. Одна на этой огромной земле, которая тянется на тысячи верст. Одна среди лесов и полей, среди станций и тракторов, среди чужих людей, которые будут смотреть на нее с любопытством или равнодушием. Одна. Так ей кажется.

Кибитка катится по дороге, и Татьяна смотрит вперед, туда, где за горизонтом бывшая столица. Первый пункт в ее пути к мужу.

Она не оглядывается больше.

Часть вторая

Осень-зима 1826 - 1827 года. Путь в Сибирь.

Глава 5

Есть что-то общее

Кибитка катится по тракту уже четвертые сутки. Земля под колесами тверда, суха - начало сентября выдалось на редкость сухим. Кажется, это единственное милосердие, какое судьба посылает Татьяне в ее путешествии. Если бы не это, пришлось бы тонуть в осенней грязи, вязнуть в раскисших проселках, терять дни, которых не хочется терять.

Первые дни дороги слились в однообразную, тягучую ленту: лес, поле, деревня, снова лес. Кибитка мала, тесна, жесткое сиденье набивает бока, и после первого же дня Татьяна перестала чувствовать спину - только глухую, ноющую боль, которая станет ее постоянной спутницей. Она сидит, прижавшись к кожаному боку, смотрит в маленькое оконце и считает версты. До бывшей столицы - семьсот с небольшим. В такую погоду, на перекладных, можно одолеть за четверо суток. У нее уходит больше - лошади не всегда свежи, станционные смотрители не всегда услужливы, а женщина одна, без провожатых, без чинов, без денег, которые можно бросить не глядя.

На станциях ее встречают косыми взглядами. Смотрители - народ тертый, бывалый, они привыкли к разным проезжающим: к курьерам, скачущим с казенными пакетами; к купцам, везущим товар; к помещикам, катящим в свои имения. А Татьяна одна со своим сундуком - это зрелище необычное. Они оглядывают ее с головы до ног, видят дорожное платье без украшений, видят усталое, но не простое лицо и не знают, как к ней обращаться. «Сударыня» - слишком высоко для такой кибитки. «Девка» - слишком низко для такого лица. Они мнутя, кашляют в кулак и наконец находят нейтральное: «Барыня, вам куда?» Или просто: «Куда путь держите?»

Татьяна называет бывшую столицу. А потом - дальше. Куда дальше - не говорит. Не их дело.

Они дают лошадей - не лучших, но и не самых захудалых. Ей не в чем их упрекнуть. И не за что благодарить. Все по правилам: подорожная есть, деньги заплачены, лошади поданы. Ни больше, ни меньше.

На одной из станций, где пришлось ждать дольше обычного - лошади ушли с казенным курьером, а новые еще не воротились с поля, - она выходит из кибитки размять ноги. Стан-

ционный двор грязен, завален каким-то хламом, в углу куча прелой соломы, из которой торчит разбитое колесо. Неподалеку, у забора, сидят мужики - человек пять, в рваных армяках, с усталыми, небритыми лицами. Они смотрят на нее без любопытства - так смотрят на то, что не имеет к ним отношения. Один, молодой, с рыжей бородой, что-то говорит другому, тот кивает, и оба снова уставляются в землю.

Татьяна вглядывается в их лица и вдруг понимает: это крепостные. Те самые, за чью свободу боролся Михаил. В семье никогда не было крепостных. Татьяна никогда их не встречала ранее? Нет, видела, конечно, на петербургских улицах, в домах знакомых - но не замечала. Они были частью пейзажа, как деревья, как дома, как облака. Она никогда не смотрела на них как на людей. Теперь смотрит.

Они грязны, худы, одеты в тряпье. У одного на ногах вместо сапог какие-то опорки, обмотанные веревками. У другого на шее - багровый след, будто от удара. Они сидят, сгорбившись, и не смотрят ей в глаза. Не потому, что боятся - потому, что привыкли, что на них не смотрят.

Татьяна отворачивается. В горле - ком. Ради них и был этот переворот? Ради них - или ради чего-то большего? Наверное, есть что-то, что она не могла понять тогда и, может быть, не понимает сейчас. Но эти люди, которые сидят у забора и жуют черный хлеб, смешанный с мякиной, - они не знают, что кто-то хотел для них свободы. Они не знают, что такой человек, как Михаил, существует. Они не знают даже, что такое свобода.

— Барыня, лошади готовы, — говорит смотритель, появляясь на крыльце.

Татьяна кивает, идет к кибитке, садится, и колеса снова стучат по твердой дороге.

Бывшая столица империи встречает ее на седьмой день.

Сначала - окраины. Длинные, унылые улицы с деревянными домами, лачугами, пустырями, поросшими полынью. Потом - каменные строения, купеческие особняки, церкви с золочеными куполами. Потом - широкая, пыльная, дорога и наконец - въезд в город, такой же, каким помнился из детских поездок с отцом, и совсем не такой. Времена отечественной войны не остались не замеченными. Пожар, уничтоживший три четверти города, оставил свои следы - их не спрятать ни за новой штукатуркой, ни за свежей краской, ни за липовыми аллеями, что разбили на месте пепелищ. Здесь, на месте сгоревших кварталов, выросли новые дома - торопливые, дешевые, без той основательной красоты, которая была. А там, где не успели построить, зияли пустыри, заросшие бурьяном, и среди этой зелени белели фундаменты, как скелеты, не дождавшиеся плоти.

Татьяна смотрит на город и думает о том, как он похож на нее. Бывшая столица пережила огонь - тот самый, о котором Михаил рассказывал с таким ужасом и таким странным, непонятным ей тогда восторгом. Город горел целую неделю, и пламя было видно за сотню верст. Он выгорел почти дотла - от трех тысяч домов осталось меньше пятисот, и те стояли обугленные, без крыш, без окон, как скелеты, брошенные на пепелище. Люди, которые жили здесь веками, потеряли все. Уходили из города пешком, с узлами, с детьми на руках, потому что так было нужно.

Татьяна думает: это и есть ее жизнь. Весь этот год для нее огонь, которому необходимо было разжечься до буйства. Внутри - все, что было: спокойствие, надежда, прекрасная жизнь за рубежом и любящий сын. Пламя сожгло все это.

Но город восстал. Не сразу - но восстал. И теперь он снова стоит - другой, не прежний, но живой. Значит и Татьяна исправит ужас своего пламени в душе. Ей нужно в это верить.

Татьяна смотрит на эти улицы, на эти дома, на золотые купола, что снова сияют над городом, и думает: сначала будет боль, будет пустота, будет чувство, что сгорело все дотла и ничего уже не построить заново. Но она будет строить. Камень за камнем. День за днем. Там, в Сибири, куда она едет, у нее не будет ни прошлого, ни будущего - только настоящее.

Остаются только шрамы, после сражения. Бывшей столицы их не спрятать - ни за новой штукатуркой, ни за свежей краской, ни за липовыми аллеями, что разбили на месте пепелищ.

Кремль стоит на холме, белый, величавый, - он был здесь и до пожара, и во время пожара, и после. Огонь не взял его. Камень не горит. Татьяна смотрит на эти стены и думает: в ней тоже есть что-то, что не горит. Что-то, что огонь не берет. И это что-то - не любовь, не долг, не отчаяние. Это что-то - она сама.

Татьяна просит ямщика остановиться у моста, выходит из кибитки, смотрит на Кремль долгим, тяжелым взглядом.

Здесь, в этом городе, был Михаил. Молодой, двадцатилетний, только что произведенный в офицеры. Он рассказывал ей о бывшей столице. Рассказывал, а она слушала и не понимала. Теперь, глядя на эти стены, на эту реку, на этот город, который выжил и восстал из пепла, она начинает понимать.

— Едем, — говорит она ямщику.

Татьяна задержалась здесь на пару дней, чтобы написать письмо Сереже... Но порвала его - ей придется научиться жить с этой болью и перестать плакать. Дальше путь до Урала.

Кибитка выезжает из бывшей столицы по новой неведомой дороге, и город остается позади - серый, шумный, живущий своей жизнью, в котором ей нет места. Татьяна смотрит в оконце на убывающие окраины, на поля, что тянутся до горизонта, и не думает вовсе. Взгляд ее устремлен вперед. Лошади бегут бойко, колеса стучат по тракту.

Глава 6

Ради себя

До Уральских гор - полторы тысячи верст. Полторы тысячи верст лесов, полей, рек, деревень, убогих городишек и редких, как праздник, больших городов. Не таких великих, как столицы, но все же больших. Жизнь в них бурлит работой. Татьяна пока считает дни, но сбивается - слишком однообразно тянутся они, один как другой, сливаясь в серую, бесконечную ленту дороги.

Один город встречает ее древними соборами и золотыми воротами, которые помнят еще князей. Татьяна не задерживается - только меняет лошадей, покупает хлеба и сухарей на станции и едет дальше. Другой город - ярмарка, шум, толчея, купцы в дорогих кафтанах, мужики в рваных армяках, татары в тюбетейках, кибитки, возы, телеги. Она проезжает через этот гомон, не поднимая глаз, - ей не до пестроты базарной, не до звона колокольного, не до людской суеты. Ей нужно дальше. За Волгу. За Каму. За тот невидимый рубеж, который отделяет европейскую Россию от Азии, известный мир от неизведанного.

Волгу она переправляется. Река широка здесь, вольна, и когда паром отчаливает от берега, Татьяна выходит из кибитки, стоит на палубе, смотрит на воду. Река течет медленно, важно, и кажется, что время в этом уездном поселении течет так же - не торопясь, не считая дней, не зная той спешки, что гонит ее вперед. Она смотрит на воду и думает о своем.

За Волгой начинается иное. Дороги хуже, станции реже, леса глуше. Деревни, что попадают по тракту, бедны, грязны, люди в них смотрят на проезжающих с той особенной, недетской внимательностью, какая бывает у тех, кто привык выживать, а не жить. Татьяна видит женщин в лаптях, с детьми на руках, стариков, согнутых работой, мальчишек, которые бегут за кибиткой, просят копеечку. Она бросает им медяки, сколько может, но знает: это не поможет. Ни им, ни ей.

Татарстан встречает ее дождем. Город на холмах, с кремлем белокаменным, с мечетями, с колокольнями, - смесь, каких она не видала прежде. Здесь, на границе двух миров, все смешалось: православие и ислам, Европа и Азия, старина и новизна.

— Барыня, — сказал ямщик, старый, морщинистый, с седой бородой, который везет ее от бывшей столицы. — Нам бы отдохнуть. До Урала еще восемьсот верст, а Вы вся в грязи. Да и устали от поездки. Ваши ноги слабы, спина не разгибается совсем.

Татьяна посмотрела на него. В глазах его не было ни жалости, ни презрения - только та простая, крестьянская рассудительность, которая знает: если тело просит отдыха, надо дать отдых, иначе не доедешь.

— Хорошо, — сказала она. — Хорошо.

Трактир. Сумерки. Татьяна долго не решалась. Гордость, та самая, что вбивали в нее с детства, что составляла саму суть ее существа, кричала в ней: не смей. Не смей заходить туда. Не смей сидеть за одним столом с мужичьем. Не смей спать под одной крышей с теми, кто ниже тебя настолько, что между вами - пропасть, которую не перепрыгнуть. Но тело не слушалось гордости. Тело ныло, стонало, умоляло о пощаде. Спина, после недель тряски в кибитке, превратилась в сплошную, глухую боль. Ноги отекали, не сгибались, и когда Татьяна вылезала из кибитки, ей казалось, что она учится ходить заново, как ребенок. Волосы, некогда гордость ее красоты, висели сосульками, свалявшиеся, грязные, и ни чепчик, ни платок не могли скрыть этого запустения. Платье, то самое, что она купила в лавке столицы, пропиталось дорожной пылью, потом, запахом лошадей и дешевого табака от ямщиков на станциях. Она чувствовала себя нищенкой. Она чувствовала себя той, кем теперь и является, - женщиной без имени, без звания, без дома. Женщиной, которую любой прохожий мог принять за кого угодно.

Трактир на выезде из города оказался из тех, что стоят на больших дорогах, - низкий, длинный, с покосившимся крыльцом и грязными окнами. Изнутри доносился гул голосов, запах кислой капусты, жженой водки, самогона, сбитеня и еще чего-то, чему Татьяна не знала названия, но что отдавало застарелой, въевшейся в стены бедностью. Она стояла на улице, смотрела на эту дверь, и ноги ее подкашивались от усталости, но ради своего здоровья Татьяне нужно отдохнуть.

Она вошла.

Внутри было темно, накурено, душно. Несколько столов, заставленных глиняными кружками, грубые лавки вдоль стен, стойка в углу, за которой хозяин - краснолицый, с жирными усами, - протирал стаканы грязной тряпкой. На нее оглянулись. Сразу несколько пар глаз - мужских, тяжелых, нетрезвых. Оглядели ее с головы до ног: грязное платье, спутанные волосы, изможденное лицо, дорожные ботинки, которые, должно быть, видели лучшие дни. Кто она? Дворянка, сбившаяся с пути? Купеческая дочка, сбежавшая из дому? Или та, кого они знали лучше, - женщина, у которой нет ничего, кроме того, что при ней?

Татьяна выпрямилась. Спина, которая минуту назад гнулась от усталости, вдруг распрямилась. Голова поднялась. Она смотрела на них так, как учила ее мать смотреть на тех, кто ниже: спокойно, без страха, без вызова, просто - сверху вниз. Не потому, что она сейчас была выше их. А потому, что не имела права показывать слабость.

— Мне нужна комната, — сказала она хозяину. — И горячая вода.

Голос ее прозвучал ровно, твердо, с той интонацией, которая не терпит возражений. Хозяин замер, тряпка застыла в руке. Он оглядел ее еще раз - внимательнее, искательнее. Увидел что-то такое, чего не заметил сначала. Может быть, руки - тонкие, длинные пальцы, которые не знали грубой работы. Может быть, походку - ту особую, летящую походку, какую не купишь ни за какие деньги. Может быть, глаза - ярко-голубые, широко посаженные, которые смотрели на него из-под усталых, но все еще прекрасных век.

— Есть, сударыня, — сказал он, и «сударыня» это прозвучало иначе, чем прежде. — Вторая комната налево. Самовар сейчас велю подать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.